

Перевернутый айсберг Америка

60-е Америки не знали, но в нее верили. Огромная, еще не открытая страна целиком помещалась в радостном подтексте советского сознания⁹⁵.

После смерти Сталина две сверхдержавы шли навстречу друг другу в стремительном темпе.

1955 – начинает выходить пустой, но прекрасный журнал «Америка». Ленинград наслаждается премьерой «Порги и Бесс».

1957 – живые американцы гуляют на Московском фестивале.

1958 – Никсон посещает Россию.

1959 – Хрущев триумфально влетает в Вашингтон на «ТУ-114». («Наше радио начинает свою работу с передачи уроков гимнастики, американское телевидение – с передачи уроков русского языка»⁹⁶.)

Выставка достижений США в Москве (длинные, как миноносцы, машины цвета «брызги бургундского»!).

1962 – «Великолепная семерка» на советских экранах.

1963 – убийство Кеннеди ощущается в России своей трагедией (из заводской стенгазеты: «Сообщило Би-би-си: Убит Кеннеди в такси...»).

Друзьями советского народа становятся Рокуэлл Кент и Ван Клиберн. Тройню называют в честь космонавтов – Юрий, Герман, Джон. Культовой книгой опять становятся путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со стола советского человека не сходит дар Нового Света – кукуруза. Американец – герой политического анекдота. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущева: коммунизм недостижим, пока СССР не обгонит США.

Главным же американцем в советской жизни был Эрнест Хемингуэй. В его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников.

С 1959 года, когда в Москве вышел двухтомник его произведений, Америка и Хемингуэй стали в России синонимами.

То, что 60-е вычитали из Хемингуэя, имело мало отношения к его творчеству.

Российский читатель давно был привержен к внесюжетному чтению. Для него писатель – автор определенного образа жизни, а не определенного литературного произведения.

Внесюжетное толкование литературы позволяет писателя расширять, углублять, растягивать.

История нашей словесности невозможна без учета того, что читатели вычеркивают из книг и что добавляют. Но если это учитывать, то получится история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой.

Хемингуэй, который и без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг и как решительно они пренебрегут надводной частью.

⁹⁵ В начале 60-х часть советской молодежи осваивала Америку, не пересекая государственную границу, – так называемые «штатники»: «В те времена, о которых идет речь, две пуговицы на концах воротника и, желательнее, еще одна сзади, на шее, значили очень много. Эти пуговицы, обязательно перламутровые, обязательно с вдавленной серединой и обязательно с четырьмя дырочками в своей неопределенности мечты о прекрасной стране моста Голден-Гейт в Сан-Франциско и Эмпайер-Стейт билдинга, Дэйва Брубeka и Майлса Дэвиса, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд, автомобиля «Студебекер» и жевательной резинки «Риглиз», Скотта Фицджеральда» (Хургин Б. *Ностальгическая сага*. Новое русское слово. 1985, 10 ноября).

⁹⁶ Аджубей А. и др. *Лицом к лицу с Америкой*. М., 1959. С. 25.

60-е оставили себе от Хемингуэя антураж, географию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, а их форма, не суть конфликтов, а авторское отношение к ним.

Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать. В них можно было влить свой контекст.

60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя. Они перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. При этом писателем распоряжались с тем произволом, который может оправдать только любовь.

Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами.

Общественному движению нужна эмблема, способная отразить самые характерные черты эпохи. В этом смысле «обезьяний галстук» оказался синонимом XX съезда, а башмаки на рифленой микропорке соответствовали принципам раскрепощения личности. Монумент, изображающий юношу с пышным коком, в брюках-дудочках и канареечных носках, мог бы вместе с зэком в ватнике представлять эпоху реабилитации. Но, к сожалению, все, что осталось от первых нонконформистов, – их диковинные клички, запечатленные фельетонистами «Огонька», – Бифштукс, Будь-здоровчик, Гришка-лошадь...»⁹⁷

Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров – грубый свитер, трубка, борода. Все это желательно, но необязательно, важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключала торжественное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке.

Когда Ив Монтан приехал в Москву, он выступал в черном джемпере – о пустяках не поют в смокинге. И даже Хрущев официальному костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху.

Мода копировала не только известный портрет Хемингуэя, но и его внутреннее содержание. Подражали не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шестидесятников. Для них этот невинный лоскут – символ капитуляции.

Новый стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру.

Советский человек слишком долго жил среди идей, а не вещей. Предметы всегда были этикетками идей, их названиями, часто аллегориями.

Стиляги, придавшие вещам самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому в милиции их и спрашивали: «Что ты хочешь этим сказать?» Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом.

Хемингуэевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идеи. Вещи здесь ничего, кроме себя, не изображают: «Мы пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль»⁹⁸. Точность хемингуэевской топографии соответствует бессмысленной определенности карты. Об этом он с наслаждением сам говорит: «Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу»⁹⁹.

(Русская литература и сама полна такими ни к чему не имеющими отношения деталями. Но ведь не без уроков Хемингуэя мы научились по-настоящему ценить Чехова.)

Хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, охотятся.

⁹⁷ См.: Огонек. 1961. № 21.

⁹⁸ Хемингуэй Э. *Фиеста (И восходит солнце)*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1968. Т. 1. С. 500.

⁹⁹ Там же. С. 574.

В сталинской кулинарной книге сказано: «Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека»¹⁰⁰. У Хемингуэя едят, потому что вкусно.

С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала ее приметой. Грубость – это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии: есть то, что есть, и не больше.

Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определенность, размытую долгим засильем аллегорий. Поэтому он так и настаивал, что в «Старике и море» изображены настоящий старик и настоящее море.

Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма, – закономерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Ученое рассуждение, книжное знание – подозрительны. «Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то, – не помню чего. Мне собор показался красивым...»¹⁰¹

Эрудиция в России – отличительное свойство интеллигентного сословия. Как голубая кровь, она отделяет избранных от плебса. Но в 60-е стало модно не знать. Появился культ романтического невежества. Ценилось лишь свежее, чувственное восприятие. Вычитанное знание ощущалось банальностью. Стиль требовал носить не очки, а бороду¹⁰².

Однако с антиинтеллектуализмом надо было обращаться умело. Герой 60-х мог выглядеть дураком, но только до тех пор, пока окружающие понимали, что он валяет дурака. Айсберг был универсален. Чем больше немудреной простоты виднелось на поверхности, тем утонченней казался невидимый багаж знаний. Нельзя рассуждать о Шпенглере, но можно мимоходом на него сослаться. Небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям – вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники.

В конечном счете смысл этого этикета сводился к общению. Правильное отношение к жизни служило паролем, по которому в толпе чужих можно узнать своих.

Когда Брет Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно: «Но он свой. Совсем свой. Это сразу видно»¹⁰³. Для Хемингуэя «своим» было потерянное поколение. У этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя – как следствие потери общности, созданной и хемингуэевским стилем.

Кто же были «свои» в России?

Смена эпох выражается сменой знаков. Советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. 60-е искали альтернативы этой идеологической модели. Они заменили знаки, и общество 60-х стало НЕсерьезным.

Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь – от государственной до частной – стала главным врагом 60-х. «Правда – бог свободного человека»¹⁰⁴. Этот горьковский тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному – чтобы сказать о правде, надо о ней молчать. Или – хотя бы – говорить грубо.

¹⁰⁰ Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1953. С. 7.

¹⁰¹ Хемингуэй. С. 569.

¹⁰² Вот как выглядит этот странный этикет в изображении очень чуткого к хемингуэевскому стилю советского писателя Валерия Попова: «Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры. Полно народу, и все босиком. Огромная квартира, много дверей, и все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, говорят: «А мы тут дурак-и, – ничего не знаем!» (Попов В. *Две поездки в Москву*. М., 1985. С. 203).

¹⁰³ Хемингуэй. С. 522.

¹⁰⁴ Горький М. *На дне*. В кн.: Горький М. *Избранное*. М., 1970. С. 77.

Подтекст нужен был еще и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане.

Впрочем, хемингуэевская правда тоже была расплывчатой: ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Она, как и многое другое, оставалась в подтексте – произнесенная правда превращалась в ложь.

Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла свободу маневра. Благодаря ей сообщество «своих» объединяло самых разных. Поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу.

Бытовой ипостасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой запас. А в качестве разменной монеты в обращение ввели предельную честность и надрывную откровенность. Эпоха требовала «назвать кошку кошкой».

Узкая грань между правдой и ложью становилась еще уже, когда сталкивались представители этих абсолютных категорий – искренность и фальшь. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэевского диалога. Герой «Фиесты» признается: «Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю»¹⁰⁵. Грубость заменяет ему нежность, хамство – лесть. Эпоха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь и дружбу, но загнала их в подтекст. Главные ценности жизни нельзя доставать наружу – иначе они засветятся, как фотобумага. Цинизм 60-х был маской, защищавшей чувства от инфляции.

Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемингуэя, составляли братство «своих». В компаниях «своих» всегда царила особая напряженность, особая приподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам. А значит, пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслием. Самым ярким, самым значительным событием в хемингуэевском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов.

Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике своего или чужого. Чужие говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолически замечали: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина»¹⁰⁶.

Круг почитателей хемингуэевского стиля не имел программы. Объединяло их только мировоззрение, в котором сконцентрировались экстремальные черты философии Хемингуэя: примат интуитивного подхода, яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса, а главное – преимущество подтекста перед текстом.

Люди, обремененные или облагодетельствованные таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. Стиль мог реализоваться только в момент пересечения. «Человек один не может ни черта»¹⁰⁷ – в том числе и вести диалог.

В 60-е культ общения распространился на все структуры общества. Акцент сместился с труда на досуг. Вернее, досуг включил в себя труд. Будь то бригада строителей, геологическая партия или научно-исследовательский институт – атмосфера дружеского взаимопонимания казалась куда важнее производственных задач.

Единомышленники собирались, чтобы насладиться только что рожденным единомыслием, чтобы сообща воссоздавать стиль. Дружба стала и сутью, и формой досуга. Даже шире – жизни.

Мир, в котором поменяли знаки, как бы рождался заново. И людей, которые стояли у его колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей.

¹⁰⁵ Хемингуэй. С. 528.

¹⁰⁶ Там же. С. 107.

¹⁰⁷ Хемингуэй Э. *Иметь и не иметь*. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 632.

Развенчание могущественных прежде идей пришло сверху. Но политические перемены не отменяли красивые слова – они просто хотели заменить одни слова другими. Хемингуэвский стиль отменял красоты вовсе. В отрицании он был тотальнее Хрущева.

Негативный пафос шестидесятников соответствовал эпохе. В эти годы история развивалась в соответствии с карнавальным ритуалом: профанация короля – вплоть до выноса из Мавзолея его трупа, торжество низа над верхом, замена торжественного стиля грубым просторечием. Лучше всего ситуация развивалась по формуле теоретика карнавала М. Бахтина (его реабилитированная книга вышла в 1963 году): «Мироощущение, освобождающее от страха, максимально приближающее мир к человеку и человека к человеку (все вовлекается в зону вольного фамиллярного контакта), с его радостью смен и веселой относительностью, противостоит только односторонней и хмурой официальной серьезности, порожденной страхом, догматической, враждебной становлению и смене, стремящейся абсолютизировать данное состояние бытия и общественного строя. Именно от такой серьезности и освобождало карнавальное мироощущение»¹⁰⁸.

Вот источник той «атмосферы нарастающего праздника», о которой так любит вспоминать жившее тогда поколение. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг как самую любимую выбрали «Фиесту».

Жизнь разворачивалась по законам карнавальской логики – «казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты»¹⁰⁹. Предчувствие похмелья портит пьянку.

60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось, да и было, важнее официальных благ.

В карнавализованном обществе 60-х самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН даже с точки зрения житейской был существенней комсомольской карьеры. Хотя в эти годы и секретари райкомов не избежали влияния хемингуэвского стиля.

Дружба – эмоция, оккупировавшая 60-е, – стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее. Остракизм «своих» был более грозной силой, чем служебные неприятности. В начале 60-х еще можно было совмещать служение государству с дружеским общением. Но когда пришло время выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема выбора появилась только благодаря влиянию общественного мнения. А оно, в свою очередь, родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надежных гражданских добродетелей.

Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров.

Допотопной глупостью казались торжественные собрания, кумачовые скатерти, речи по бумажке. Все по-настоящему важное могло происходить только в сфере «фамиллярного контакта». Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты конкурировали с газетами. Самодеятельность (тот же КВН) вытесняла профессионалов. И даже Первый секретарь Центрального Комитета КПСС не чурался импровизации.

В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамиллярному из всех – жанру дружеской попойки.

¹⁰⁸ Бахтин М. *Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1972. С. 274.

¹⁰⁹ Хемингуэй. *Фиеста*. С. 623.

Алкоголь окончательно упразднил пережитки догматичного мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру: все было в равной степени важно и не важно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать сферы жизни, довести ее до того состояния, когда закрытие винного отдела становится важнее продвижения по службе. Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала 60-х.

Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя.

Дело не в том, что у Хемингуэя пьют – в России всегда пили. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство – не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь – средство обострения карнавального ощущения. С каждой рюмкой снимается очередная обязанность перед обществом: застолье подразумевает в собутельнике человека просто – человека, лишенного любой социальной роли.

Возмущенно спрашивая «почему вы никогда не напиваетесь?»¹¹⁰, герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос: почему вы не хотите быть самим собой, почему вы не откажетесь от принятой роли, почему вы не настоящий?

В 60-е большая печень была несовместима с дружбой. И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья – в творческом горении, которое осеняло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал. Здесь рождалась не истина, а взаимопонимание. Искусство пьяного диалога заключалось в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удалиться только тогда, когда ее участники обнаруживали общий подтекст. Тогда сообща они сооружали из ничего не значащих реплик общее интуитивное родство.

Пьянка давала не результат, а состояние. И оставляла она после себя не похмелье, а братское единство. Она культивировала способ жизни и взгляд на вещи. Она строила модель перевернутой вселенной, в которой важно только неважное и истинно только несказанное.

Чтобы удержаться на такой духовной высоте, пьянке был необходим подспудный трагизм. Настоящий карнавал не существует без трагической темы. Боль, смерть, горе могут им профанироваться, но без них и карнавал и пьянка превращаются в фарс.

У Хемингуэя трагедия оставалась в подтексте. Война, кровь, несчастная любовь – все оттеняет фиесту, дает ей глубину, объем, масштаб.

В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками: трагичность продуцировал сам этикет.

Так, например, стиль требовал обостренной мужественности – готовности к физическому отпору, поиска рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации бицепсов.

«Свои» всегда состояли из мужчин, даже если среди них были женщины. Любовь считалась всего лишь филиалом дружбы. И настоящий шестидесятник никогда бы не променял «водку на бабу». И полюбить он мог только женщину, которая бы одобрила этот выбор.

Настоящая, а не сыгранная трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и пьянства осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастлив ни был их культ, он не оставлял результатов. Когда карнавал затянулся, его участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями, настоящими пьяницами. Они уже прошли школу воспитания подлинного характера. Но все откладывалась пора созидания – книг, государства, семьи.

После веселых разрушений должна была наступить бодрая эпоха реализации завоеванных преимуществ. Однако поклонники Хемингуэя напрасно искали рецептов у своего кумира. Хемингуэевский образец создал сильного, красивого, правильного человека, который не знал, что ему делать. В России опять появились «лишние люди».

¹¹⁰ Там же. С. 613.

Надуманная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Бесцельность ритуала, которая так соответствовала буйствам фиесты, начала тяготить именно своей безрезультатностью.

Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми. Если раньше они разделяли достоинства Хемингуэя, то теперь – его недостатки. Подтекст мстил за свою неопределенность. Жажда искренности превратилась в истеричность. Грубость, скрывавшая нежность, стала просто хамством. Дотошное внимание к пустякам привело к потере ориентации. К тому же лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов: если нечего делать – все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее достижение хемингуэевской школы – пьянство: оно неотвратимо катилось к алкоголизму.

Перерождение идеала происходило из-за слишком увлеченного следования ему. Стилль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваем.

И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блатным. Внешне герой 60-х остался таким же – с бородой, гитарой и стаканом. Но, приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатненной культуры захлестнула страну.

Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины. Они тоже презирали книжное знание. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они несомненно относились к лишним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Хемингуэя.

Трансформация одного идеала в другой привела к тому, что бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом, напускной цинизм превратился в настоящий.

Блатной – незаконнорожденный сын русского Хемингуэя – при всей яркости, обостренности, экстремальности облика, далек от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое суждение советского критика: «Влияние Хемингуэя было отрицательным (в целом) – оглуляющим – созданием образа декоративного мужчины, в котором «честность» заменяет мозги»¹¹¹.

Хемингуэевский разгул прокатился по России, оставив после себя похмелье. Но как ни горько было разочарование, упреки по адресу писателя несправедливы. «Он мог научить, как жить, но не давал ответа – зачем»¹¹², – сетовали его бывшие поклонники. Ответ Хемингуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого вопроса. Люди 60-х, восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним делать.

И все же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил поколению презрение к позе. Он подарил счастье спонтанного взаимопонимания. Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей.

Конечно, хемингуэевский идеал – негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы опаснее мужественного и застенчивого умолчания. И люди, которые не знают, зачем жить, все же приемлемее тех, кто знает это наверняка.

Когда в моду вошли герои, преисполненные ответственности за судьбы мира, когда в стихах все слова стали писать с большой буквы, когда опять заговорили красивыми словами о гордых материях, – только редкие, как зубры, адепты хемингуэевской веры продолжают небрежно педить: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».

¹¹¹ Отзыв советского литературоведа П. Палиевского. Цит. по кн.: Орлова Р. *Хемингуэй в России*. Анн-Арбор (США), 1985. С. 65.

¹¹² Там же. С. 67. Отзыв писательницы И. Варламовой.